

А вот ещё... Жила цыганка-чёваханя, сама уже старая, а детей нет. Беда. Вот пошли цыгане по деревне, гадают да просят, а чёваханя всё по сторонам глядит – какую деточку меньше любят. У всех ребяткишек мамки да батьки, бабки да дедки, а одна девочка, страшная да грязная, одна сидит, со всеми не играет.*

*«А чья это чяёри**? Чья деточка?»*

Ей отвечают: «Сиротка. У тётки живёт, в работницы растёт». Дождалась чёваханя тёмна да и украла её. Принесла к себе, а смотрит – девочка некрасивая да больная, вся кожа как у гуся оципанного. Прочитала тогда чёваханя свои слова, вставила сиротке в глазки два изумруда, а в ротик – кораллы, а потом и говорит: «А ну повернись, милая».

Повернулась сиротка и сразу сделалась такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

О своей ненормальности я догадалась не сразу.

Воспоминания других детей были первой причиной, почему я это заподозрила. Как оказалось, они помнили много чего из своего раннего детства. Я же не помнила почти ничего до самых шести с половиной лет. Может, виной тому болезнь. А может, до приезда Аглаи с Дедой и запоминать-то было особо нечего.

Когда меня одолевает бессонница, я думаю об этом, всё пытаюсь что-то отыскать, уцепиться. Нет, бесполезно. Да и какая теперь-то разница!

Весь мой багаж памяти скудно ограничивается тремя-четырьмя последними днями в «Гнёздышке». Зато я до сих пор помню каждую мельчайшую деталь этих дней – свою кровать с зелёным покрывалом, дырки на линолеуме, запах щей в коридоре и тарелку с незабудками.

* Старшая женщина, «знающая», иногда – ведьма, колдунья (цыг.).

** Моя девочка, дочка (цыг.).

Могу сказать, какие книги стояли на полке, назвать все наши игрушки, описать, в какую одежду были одеты воспитательница, нянечка и дети. Я даже помню – кто и что в то время говорил.

Стояли ясные осенние дни. Светило солнце, желтели листья, и мы шли на прогулку во двор. Я стояла у ярко раскрашенной лесенки и смотрела, как играют дети. А сама ни с кем не играла.

А в последний день меня обидели. Я лежала на полу и медленно расставляла кубики в одну линию. Это были деревья. Они росли и покрывались листьями. По веткам прыгали маленькие птички.

И тут одно дерево надломилось и затрещало. Я подняла голову. Крупная девочка пинала кубики ногами. Я молчала и не сводила с неё глаз. Заранее зная, что сейчас будет.

Свет померк, в ушах зашумело, ноги и руки исчезли, исчезли игрушки и дети, мир исчез... И разверзлась тугая чёрная воронка – та, в которую я падала много-много раз – я помнила это, только это – самое страшное в моей жизни.

А потом я лежала на полу – без сил, раздавленная, перемолотая безжалостным приступом. А все они смотрели на меня. Монотонный шум чёрного водоворота медленно и тошнотворно вился внутри головы. Но они, конечно, его не слышали.

– Господи! Машенька! Хорошая моя, ну-ка пойдём, – наша нянечка подсунула под меня руки и подняла – легко, словно куколку.

– Тётя Зоя...

– Что, миленька?

– Дай бусы поиграть.

– И бусы дам, и чай попьём, и... что хочешь! Только сначала лекарство выпьем.

Она несла меня и всё ворковала. А по коридору навстречу нам уже мчалась, топая толстыми ногами, кудрявая краснощёкая медсестра.

Потом я долго спала. А когда проснулась, нянечка была рядом. Она помнила свои обещания. На полированном столе появились три заветные вещи – тонкая гжелевская чашка, конфета «Мишка косолапый» и сияющие бусы из чешского стекла. Я медленно развернула конфету и с удовольствием вдохнула запах, идущий от фольги. Мне нравился шоколад.

Дверь отворилась и в комнату вошла наша заведующая.

– Опять? – тихо спросила она.

Нянечка кивнула.

– Плохо дело. Как же недосмотрели?

Нянечка вздохнула. Заведующая наклонилась ко мне. От неё пахло духами и немного потом. Над блестящими губами наметились тонкие усики.

– Машенька, – она говорила по-прежнему тихо. – Скажи мне, что случилось.

– Люда сломала мой лес, – сказала я, жуя конфету.

– О, я знаю, она не нарочно. Давай простим её, и она не будет так делать никогда-никогда.

– Давай.

– Ох, как хорошо! Выздоровливай.

И она направилась к выходу. У заведующих всегда много дел.

И тут бы самое время поиграть бусами нянечки. Но я не успела.

Потому что в «Гнёздышко» прибыли Деда и Аглая.

Уверена – ни до, ни после в уютном тихом «Гнёздышке» не случилось подобного переполоха.

Это было нашествие. Оккупация. Катастрофа. Это была безоговорочная капитуляция всех возможных устоявшихся традиций, тихих уголков и режимов дня.

Они не вошли, а ворвались. Нет, влетели. И сразу заполнили собой всё пространство. Хотя по части заполнения пространства больше постаралась Аглая, ведь Деда не особо любил находиться на виду.

Она была яркая, Аглая. Совсем не то что сейчас. Какая-то жуткая юбка, ужасное пальто в рыже-зелёную клетку, цветастая блузка, звенящие цепочки, покрашенные до безобразия губы и волосы – рыжие как огонь.

Это было не отсутствие вкуса и не увлечение хипотой, а тактика, эволюционно доведённая до инстинкта и неизменно передающаяся в поколениях, – нагряться, оглушить, вывести из равновесия, а потом быстренько получить своё и ускакать в закат.

– Боже-божечки-боже! – возопила она с порога, и у одной из нянь сразу выпал из рук ночной горшок. – Долго же мы добирались! И где же она – моя девочка, мой ангелочек? Антонина Тимофеевна, голуба вы наша, спасительница, как же мы вам благодарны!

Аглая сгребла и прижала к тощей груди нашу потерявшуюся заведующую, а та только стояла как дура, раскрыв глаза и рот до состояния трёх букв «о».

– И обогрели, и обучили... А мы-то, мы-то... Полстраны, вот этими ногами! А бумажек-то, бумаг сколько... ох, скажу я вам!

Тут она отпустила Антонину Тимофеевну, вырвала из рук Деды толстый кожаный портфель и плюхнула его на стол.

Я как раз сидела на краешке кровати у двери и, решив, что всё это как-то странно, сползла, прошмыгнула за дверь и притаилась за кадкой с фикусом.

Да, всё это было очень странно. Как только Аглая появилась, я сразу смекнула, что она появилась не просто так, а в *моей* жизни. И теперь она будет *что-то значить*, и я буду с ней, и с этим краснощёким лысеющим человеком, которого сразу назвала «Деда».

Аглая вынимала бумаги с искусством бывалого иллюзиониста. Они выскакивали из портфеля, раскрывались, крутились в светлом осеннем воздухе, укладывались на стол, подоконник, стулья – куда угодно! Мелькали фиолетовые печати всех возможных геометрических форм, скрепки вспыхивали на солнце огненными стрелками, и листы – машинописные и рукописные, блёкло-жёлтые и снежно-белые – порхали, взлетали и тут же находили своё место, пришипленные метким определением разбушевавшейся Аглаи.

– Справка о доходах! – радостно выдавала она. – Справка об отсутствии судимости! Об отсутствии венерических болезней! Свидетельство о браке! Из ЖКО! Подтверждение родства! Об отсутствии педикулёза! Выписки из домовой книги! Паспортные данные! Справка из горно! Характеристика с работы! Автобиография! Ещё характеристика с работы! Справка окулиста! Невропатолога! Хирурга! Гинеколога! Справка о прививках! О постановке на учёт! Акт осмотра квартиры и ее соответствие техническим нормам!..

Бумаги вылетали и вылетали. То были перья, из которых мне шили крылья. Вылетали, не оставляя ни единого шанса на то, что я останусь в «Гнёздышке», полном щей, каш, кисельных пенек, холодных горшков, растрёпанных книжек, лохматых пластмассовых кукол и детских голосов, не смолкающих ни на минуту.

А может, Аглая швыряла вместо всех этих справок осенние листья.

Или Деда купил по случаю пачку газет и нарвал их на кусочки.

А может, и этого не было. Женщина, что печёт посреди зимы пироги со свежими детьми, что-нибудь да придумала бы.

Наконец, портфель заметно похудел. Аглая остановилась и победным взглядом окинула всех присутствующих.

– Я удочеряю и забираю свою племянницу, – безапелляционно заявила она, переведя дух. – Вот... – и ещё одна бумажка вспыхнула на солнце и опустилась на стол.

Если бы Аглая сказала «Ахалай-Махалай!» и посреди кабинета тут же забил фонтан из лимонада – даже тогда она не вызвала бы большего изумления у почтеннейшей публики. Заведующая бессильно опустилась прямо на стопу бумаг в кресле. Нянечка взмахнула руками. Повариха, непонятно почему оказавшаяся на месте событий, закрыла рот руками и ринулась в кухню.

– Но ведь это же... – прошептала Антонина Тимофеевна.

– Где же она – наша девочка?! – грянула Аглая на весь дом.

– Таня, позовите, пожалуйста, – заведующая потихоньку приходила в себя.

И вновь всё пришло в движение. Топали ноги по половицам. Звенели голоса. Какие-то сумки. Где же Машенька? Ах, подожди, Дима, не до тебя тут! Скрип-скрип. На восковом листе фикуса тонкие сухие полоски складывались в силуэт древних башен – над ними парили серые орлы. Вы Машеньку не видели? Лёгкие пылинки плясали в солнечном воздухе. От кадки пахло сырой землёй и тихими ночными вздохами. Я поковыряла почву в горшке и посмотрела на широкий лист. Ну, мне пора. Я вылезла из своего убежища, отряхнулась и встала во весь рост.

Аглая и Деда стояли на фоне окна. Солнце разжигало рыжие волосы огнём и плясало весёлыми зайчиками на розовой лысине.

– Здравствуйте, – сказала я.

Аглая всплеснула руками. Деда улыбнулся, и у меня отлегло от сердца. Я поняла, что он добрый.

– Девочка! Девочка моя... – Аглая присела на корточки и её лицо – бессовестно накрашенное, покрытое сетью мелких морщинок, оказалось напротив моего. – И как же тебя зовут?

И тут свершилось.

А всего-то, если разобраться, произошла безделица. Задумавшись на секунду над тем, как же представиться – солидно Марией или запросто Машей, я смешалась и проговорила:

– Мара...

– Ох, – выдохнула Аглая и посмотрела на Деду.

– Мара, – повторил он.

– Машенька. Её зовут Машенька. Мария Воробьёва, – подсуетилась наша нянечка.

Но её, конечно, уже никто не слушал. Слово было сказано. И я стала Марой. Раз и навсегда.

Потом были короткие сборы. Да и чего мне было собирать? Так, какое-то смешное барахлишко – красное драповое пальто, резиновые сапоги, ночнушка из бежевой фланели, унылые заштопанные колготки, трусы на резинке да шапка с вязаными ушами – вот и всё приданое.

Дети смотрели на меня – высовывались из спален и игровых. Никто не улыбался. Никто не махал руками. И взрослые тоже смотрели. Я думала – никто и не подойдёт, но они подошли – Антонина Тимо-

феевна со сбившейся причёской, молодая практикантка, наш рабочий дядя Юра и наша нянечка.

– А можно мне бусы? – тихо спросила я.

Нянечка вздохнула, повозилась за воротником белого халата, сунула мне в руку радужную переливчатую нитку и потрепала меня по голове.

– До свидания, – сказали мне.

– До свидания, – ответила я.

Хотя это, конечно, было враньё, и все мы об этом знали. Какое там «до свидания»! Это было самое настоящее «Прощай».

Я никогда больше их не видела и не увижу.

А бусы... Вот, видите, столько лет прошло, а я ношу их до сих пор. Смешно, да? Такие радужные стеклянные бусы у вас носят только старушки да безвкусные дурищи. Но ведь это единственное материальное доказательство того, что у меня тоже когда-то было детство. И потом... у нас-то их носят, да ещё как.

2

*Ай, ромáлэ, замардýпэ
Дривáн мáндэ о илóоо...**

У нас все поют. Мать моя уж как хорошо пела – все плакали. Столько денег ей давали! Отец говорит – давай домом встанем. Построили дом, живут. Да всё неладно, ругаться начали. Решили уехать. А как уехали, дом и сгорел. Стали мыкаться, где только не побывали. Снова осели. Теперь уж дом готовый купили. Опять не слава богу! Ну что ты будешь делать – не живут ладно.

Позвали чёваханю. Она покурила, пошептала. Говорит: «Хотите жить на месте, неделю ешьте по кусочку той земли, где жить будете. А то земля вас не держит». Так и сделали, ели. И правда, потом осели хорошо.

А бабушка была у нас одна, так она говорила, что не можем мы на одном месте жить потому, что Бог нас любит больше других. Мы весёлые, поём хорошо, вот и отдал он нам всю землю. Не знаю. Может, и так.

Мы ехали день, ночь и ещё день. Пыльные стёкла такси, кожа кресла, пропахшая рыбой, забытая кем-то расчёска. Огромное, набитое словно улей, здание вокзала. Поезд – как тяжёлая усталая гусеница.

Мелькали, мелькали, мелькали – деревья, станции, закатное золото, синие сумерки, переезды, дороги, бабы, мешки, дети, мотоциклы...

Я не отходила от окна, не спала, не пила и не принимала пищу. Это не было детским удивлением огромности и многозначности мира. Я пыталась понять всё, что видела. Образы вливались, учили своему языку, играли со мной, дарили музыку и свет, тихонько вели по тонким тропкам и уводили так далеко, куда не ходят нормальные дети.

На столике подсыхали дольки апельсина, нарезанный сыр пускал скучную слезу, крошки от булки падали на пол, в стакане бренчала ложка. Мне было не до еды. Аглая с Дедой понимали это и не надоедали мне уговорами.

Они вообще никогда не уговаривали. Мне было шесть с половиной лет, и отныне я вольна была делать что хочу.

Потом был трясучий загазованный автобус, и, растеряв все силы, я, наконец, заснула.

А когда проснулась, увидела наш дом.

* Ай, цыгане, забилось очень моё сердце... (Слова старинной песни, цыг.)

Я проснулась, осмотрелась, втянула ноздрями воздух и почувствовала...

Знаете ли, довольно глупо воспринимать дома как совокупность стройматериалов и мебели. Это всё равно как воспринимать человека как сумму мяса и костей. У домов есть душа. Это у нас все знают. Поэтому у нас раньше вообще не было домов. Старики говорят, что душа дома держит душу человека и не пускает от себя, не даёт свободы.

С первой минуты всё стало понятным. Тесная кухонька с тусклой грушей мутной лампочки; заставленный хламом коридор; комната Деда (книги, книги, книги); тёмная спальенка Аглаи; зала с шеренгой шкафов и сервантов; две крохотные комнатки не пойми для чего; мой закуток с окошком и дверью в сад; два чулана, двое сеней и чердак.

Никого не было в доме. Деда и Аглая прекрасно понимали, что мне нужно, и с утра возились в погребе, ссылая подсохшую картошку.

Я медленно прошла по дому, потрогала старые, сто раз крашенные рамы окон, посидела на продавленном диване в кабинете Деда; подобрала с пола яркую мохеровую кофту Аглаи и, обойдя все комнаты и закутки, улыбнулась. Теперь это было моё жилище – от плотной подпольной земли, пахнувшей картошкой и старыми тряпками, до кончика трубы с отвалившимся закопчённым краем.

А потом мы сидели на кухне. Чайник посвистывал, масло плавилось в недрах овсянки, хрустящая булка гордилась рыжей корочкой. Деда просматривал газету. Аглая дула на горячий кисель в моей кружке.

– А можно мне будет погулять?

– Конечно, – Аглая всё дула в кружку.

– А куда можно?

– Куда хочешь, милая. Вот держи-ка. Кисель, правда, ещё горячий.

В этом была вся Аглая. Никогда, ни при каких обстоятельствах она не говорила «Пойдёмте пить чай», «Обедать!», «Не лезь, обожжёшься» или «Пора спать». Всё это она умело заменяла фразами соответственно «На столе свежий чай и печенье», «Суп может остыть и станет невкусным», «Сковорода горячая» и «Ты, наверное, устала». Слова-указалки были чужды её природе. Она делилась информацией и никогда не обижалась, если её слова игнорировали.

А любопытно было бы посмотреть на то, какие дети могли бы вырасти у такого существа. Подозреваю, что абсолютно счастливые, не ведающие страхов и комплексов. Но у Аглаи и Деда никогда не было детей. Пока не появилась я.

3

А вот еще мне бабка рассказывала. Молодая она была, шла по лесу, на спине ребёнка несла. Выходит на поляну да и видит: меж двух берез качели висят, а на этих качелях двое деток маленьких – мальчик и девочка. И уж так смеются, просто радость от них!

Что такое? Откуда в лесу деточки? До деревни ведь вон как далеко! А дай-ка, думает, я их угощу. Ну и даёт им пряников да яблок. А детки-то засмеялись да и исчезли!

А это спорики были, колдовские дети. Кто их видит да угостит, к тому счастье приходит.*

Бабка-то удачливая была: что только ни задумает, все у нее получается.

* Спорики (или спорники) – персонажи цыганских сказок, весёлые лесные дети.

Я шла по просёлку, загребая сухую пыль резиновыми сапогами. Непонятно, почему я надела резиновые сапоги в такую тёплую и ясную погоду. Ни Аглая, ни Деда не удосужились дать совет по одеванию шестилетнему ребёнку. Длинный деревянный забор внезапно закончился, и я вышла из узкого переулка на широкую поселковую улицу.

Слева и справа тянулись дома, над заборами краснели рябинки, облетали яблони, и только сирени шуршали на ветру пыльными зелёными листьями. Пробежала собака, прокричал петух, женщина в красном халате вышла со двора, увидела меня, раскрыла рот и сразу юркнула обратно в калитку. Дойдя до конца улицы, я не обнаружила ничего интересного, упёрлась в череду огородов и развернулась обратно. Навстречу мне шли школьники.

– Смотри, смотри, – сказал один.

Все быстро глянули на меня и сразу сделали вид, что не заметили.

– Ольховские привезли? – тихо спросил другой.

На него шикнули.

Я не стала с ними связываться. Они всё равно не стали бы со мной играть.

Улица кончилась, и дорога пошла по пустырю. Высокие сухие травы стояли стеной, над ними летали тонкие серебряные паутинки.

Я смотрела на лёгкие белые облачка, повисшие в ослепительно голубом небе. Потом прикрыла глаза и прислушалась.

Дорога сулила прохладные прикосновения миллиардов пылинок и песчинок. Серые воробьи внимательно смотрели на меня с кустов, но думали о своём – у них, у воробьёв, всё не так, как у людей: соображают они совместно, но при этом постоянно спорят. Маленький кузнечик неуклюже прыгнул и устоялся на меня, и я подставила ему ладонь. Он не сел в неё не потому, что испугался, а потому что у него были другие планы. Мы посмотрели друг на друга и вежливо разошлись в разные стороны.

Я медленно шла, загребая сапогами лёгкую пыль. Солнце припекало спину и грело затылок. Всё шла себе да шла, а когда устала, уселась прямо на обочине, среди сухих былинки и пыльных лопушков.

– Мара, – позвал Деда, и я подняла глаза.

Он сел рядом в траву – большой, круглый, в пыльных ботинках, в большом жёстком плаще, в серой шляпе с продавинкой посередке. Так мы и сидели. А потом пошли по дороге, и я держала его за руку.

– Деда, а где мы живём?

– Такой вот посёлок, – Деда взмахнул рукой. – Называется Прибой.

Прибой! Я засмеялась. Слово-то какое!

– А ты кто?

– Ну... я на заводе бухгалтер.

Я залилась смехом.

– А Аглая тоже бухгалтер?

– Аглая? Нет.

– А кем она работает?

Теперь улыбнулся Деда.

– А ты бедовая! Всё тебе сразу скажи да Расскажи. Пошли-ка в магазин, мороженое купим. Мороженое любишь?

– Ага!

Была я у родителей девочка умная да красивая. Вот выросла и говорю: «Не хочу замуж за цыгана, у меня в городе есть камлытко», он*

* Милый, любимый (цыг.).

гаджо, не наш». Как так?! Родителей не слушать?! Как не пойдёшь?! Пойдёшь. И сосватали. А жених-цыган по лесу ехал, на него лесина и упала, насмерть повалила. Опять говорю: «Отпустите меня в город к другу моему. Он человек хороший, взрослый». Куда там! Не пустили, снова сосватали. А новый-то жених на свадьбу ехал да в грозу попал. Ударило в него так, что убило вместе с конём.*

Поняли тогда родители – надо отпустить, неспроста это. Но за-таили обиду – дочь не к своим ушла. А разве можно на свою кровиночку обиду держать? Ушла девушка, замуж вышла, а деток Бог не дал. Так-то против родителей идти. Потом-то они уж простили, да поздно было.

Я обнаружила их так, как заблудившиеся птицы находят путь в тёплые края. Целый день бегала по овражкам и рошицам, лазала в чужие огороды и бросала камешки в болото. Голод звал к тёплому чайнику и краюшке хлеба с вареньем, а холодные ноги – к печке и сухим носкам, но я упорно карабкалась по чужим заборам, лякала в скользкой глине и грела грязные руки, засовывая их в рукава пальто.

Я почуяла их издали и пошла на терпкий запах, на горький дымок, на тусклый свет незанавешенных окон.

Тёмные дома стояли в низинке. Сизые печные дымки уносило ветром. Студёный ветер трепал бельё на верёвке.

Я оглянулась назад. Прибоя не было видно, я ушла так далеко, как ещё не уходила. Другие родители давно бы бегали окрест с криками. Но только не Деда и Аглая.

С самого начала стало понятно, что эти облезлые жилища отличаются от тех, что я видела. И, уж конечно, не своим внешним видом – видела я в Прибое и похуже. Нет, тут было что-то иное. Потоптавшись сапогами по грязи, я стала спускаться вниз.

И тут мне в лицо вlepился ком холодной глины.

От неожиданности я упала задом на землю, а пока протирали глаза, в меня полетели другие комки – ещё и ещё. Я заревела в голос, встала на ноги и, вместо того чтобы бежать прочь, помчалась к тёмным домам, откуда меня так метко бомбардировали.

Ещё один комок шлёпнулся под ноги, другой задел и без того грязную руку.

Я закричала и схватила придорожный камень.

Камень свистнул в воздухе. Наступила тишина. Потом послышался протяжный обиженный плач.

– На кэр акадякэ!** – крикнул женский голос.

Я стояла посреди дороги и протирали кулаками глаза. Из-за кустов показалась толстая женщина в пышной юбке с грязной кромкой. Из-под косынки висели тонкие косы, в руке тлела папироса.

– Йав кэ мэ!***

Я не двинулась с места. Тогда она сама взяла меня за руку и повела во двор, что-то приговаривая и прищёлкывая языком. Я только оглядывалась по сторонам.

Набежали ещё две женщины, помоложе; появились ребятишки, целая куча – худые, крикливые, грязные; вышел кудрявый старик с палкой; залилась лаем маленькая чёрная собачка. Старик бранился на ре-

* Русский мужчина (цыг.).

** Не делай так! (цыг.)

*** Иди сюда! (цыг.)

бят. У одного мальчика шла носом кровь. Толстая женщина подвела меня к бочке во дворе, отмыла мне лицо обжигающе-холодной водой и утёрла жёстким полотенцем. От полотенца пахло кислым молоком.

– Пхэн, конэскиро ту?* Ты откуда? – спросила женщина.

Я по-прежнему молчала.

– Да Ольховских она, – хрипло сказал старик.

И все сразу замолчали. А потом загалдели наперебой, стали осторожно трогать мою одежду, отрывать налипшие кусочки глины, щёлкать языком. Кто-то сунул мне кусок лепёшки, и я тут же принялась жевать. Толстая женщина подала кружку тёплого молока.

– Тебе сколько лет? – спросила худая девочка.

– Шесть.

– Не-ет. Мне шесть, а ты большая, вон какая!

И все засмеялись.

Тут жили цыгане. Давным-давно они бродили по городам и весям, знали толк в лошадях и кузнечном деле, пели и плясали на ярмарках. Но даже в те незапамятные времена для большинства обывателей были как палка в колесе. Теперь же их привычная жизнь окончательно поломалась, и они принялись медленно деградировать, забывая нехитрые ремёсла и всё больше и больше соблазняясь лёгкими деньгами преступной наживы.

Не стоило сгонять их в колхозы. Не стоило расселять по унылым деревням и посёлкам. Народ, привыкший всю жизнь шевелить ногами по бесконечным дорогам и впитывать их музыку, сразу опустился и угас. Исчезли кони с бубенцами. Медведи пошли на шапки скорнякам. Утих стук походных кузней, а потом исчезли и сами кузнецы – в цыганских посёлках мало мужчин.

А они всё жили как умели – часто и бестолково рожали детей, попрошайничали на базарах, таскали картошку у местных, торговали сивушным перегонном и относились с чётко уловимым презрением к гаджо – всем не цыганам.

Если не считать Деды и Аглаи, это были первые люди, которые приняли меня в своё общество – так просто, как другие люди позволяют чужой кошке бродить по своему двору и иногда, по настроению, гладят её нечистую шёрстку и кидают ей головы от кильки.

Старик сказал, что отведёт меня домой, но тут на меня налетели худые чернявые дети. Они тормозили меня, что-то кричали на своём птичьем языке, а один мальчик сунул мне в руку облизанную карамель. Я совсем растерялась. Они предлагали мне играть, этого не делал никто, по крайней мере я такого не помнила.

Это было чудо, шальное волшебство. Мы бегали и орали, верещали и смеялись. За занавеской пищал младенец, женщина добродушно ругалась густым прокуренным басом, опрокинулась лавка, отлетела табуретка, дед дал куму-то шлепка, за печкой звенела посуда.

Я и сама не заметила, как стала выкрикивать слова. Мне нравились они – громкие, острые, полные дикой музыки. Старик заметил это и потрепал меня по голове.

– Амарí, амарí. Наша.

– Амарí! – крикнула я, а он засмеялся.

Потом мы ели, и было очень весело – стучать ложками, кусать отломанные ломти и пинаться под столом. А в незанавешенные окна лился красный свет закатного солнца.

* Буквально: Ты чьих будешь? (цыг.)

Старик сам отвёл меня домой. Мы шли по полю, по искристой от инея земле, а над нами в темнеющем небе летели гуси – тяжело, низко к земле, так что видны были их лапки, прижатые к серым брюшкам.

Аглая вышла на крыльцо, охнула, кинулась, обняла меня и прижала к себе. Старик степенно говорил на своём языке, поглаживал белую бороду, прищёлкивал языком. Аглая его будто не слышала.

– Мара, Марочка моя, – шептала она, и по её тонким морщинкам катились слёзы.

И тогда я поняла, что люблю её. Это было так просто, что я порази-лась, как же мне раньше это в голову не приходило. Я люблю Аглаю и Деду. И никогда их не брошу. Они – мои. Наши. Аморí.

– Парикирэс*, – сказала, наконец, Аглая, подняв глаза на старика.

Они смотрели друг на друга – неподвижно и долго. Аглая благода-рила не только за то, что меня привели домой. За что-то важное, куда большее, благодарила она.

А гуси всё летели над нашими головами, перекликаясь – прочь, прочь. Их звали другие края.

5

А ещё был у нас раньше праздник. Летом выпадал, по теплу. Са-дидись все ночью вместе, а огня не жгли – ни костров, ни трубок, ни печек, ничего! Сидим в темноте, молчим, каждый своё думает. Это чтобы все помнили о тёмных временах, о злом и нехорошем не забы-вали. Ведь всякое бывает – голодают люди, болеют, мёрзнут. И не ели поэтому ничего – ни лепёшки, ни тёплого чая. Нельзя громко гово-рить, нельзя петь. Даже дети не плачут. Темно, страшно, зябко. А как восходит солнце, наш старшой разводит костёр, берёт головёшку да обходит нас кругом. Что тут начинается, ой! Все радуются, поют, пляшут, мясо готовят, лепёшки пекут!

Весело было, да.

Огонь – он живой. Его нам Бог дал.

Небо стало свинцовым, опустилось до самых крыш и придавило, причмокнуло, отрезало пути. День за днём сыпал снег.

Деда исчез на два дня, а потом явился под вечер – свежий и румя-ный, с двумя большими сумками. В сумках были валенки, крашенная под леопарда шубейка, меховая шапка, шерстяные гамашы и носки. А ещё конфеты – целый пакет. Всё мне.

Аглая тоже уходила, но ненадолго. Она приходила с мороза, потира-ла тонкие руки и сразу ставила чайник на плиту.

Иногда мы гуляли вместе – шли до магазина или до автостанции. Но никогда не ходили в посёлок с чёрными домиками. Туда я ходила одна.

Часто, глядя на угольки в печи, Аглая начинала петь. Она пела, за-крыв глаза и покачиваясь. Песни были похожи на сполохи алого огня, что пляшет по уголькам, на вой ветра в старой трубе, на метель. Мне хотелось от них плакать, но я не плакала, а крепче прижималась к Аг-лае, обнимала её за костлявые бока.

А ещё она рассказывала. И непонятно было – сказки она говорит или вспоминает былое.

Вот, говорят, в одной деревне жила старуха-чёваханя, злая ведьма. Был у неё сын, хороший парень. А она-то никого не любила, никого во

* Благодарю (почтительное) (цыг.).

двор не пускала, а сама только вечером выходила. Встанет, заклинение пробормочет, а потом повернется вокруг себя и превращается в свинью. И всем, кто к ее дому идет, начинается эта свинья под ноги бросаться. Собьет на землю и катается. Да так, что чуть не до смерти, покалечить могла... А сын у старухи красавец был...

Жутко и чудно было перед самой ночью, когда Деда уходил к себе, а Аглая сажала меня на табуретку, вынимала головёшку из печи и с причитаниями ходила кругом. Это она уводила прочь чёрную воронку – дула на мою голову, бормотала, шептала, иногда срываясь на русский:

Иди, иди прочь! Кто переступит мою тень,

У того пусть и будут боли, а у моей чяёри – нет-нет-нет!

И воронка оставила меня в покое, ушла навсегда туда, куда послала Аглая, ушла вслед за горьким дымом тополёвой головёшки.

Иногда к нам приходили люди – под вечер, с оглядкой. Они забегались на завалинку и трусливо стучались в окошко. Выходила Аглая, тихо говорила, иногда что-то брала и отдавала, иногда говорила «нет-нет» и быстро уходила. А гости, в основном тётки средних лет, всё топтались и иногда стучали снова, что-то кричали...

Посёлок будто вымер. Изредка по улицам пробегали подмёрзшие школьники, бабы гремели вёдрами на заледенелых колонках, два раза в неделю у сельмага выстраивались хмурые очереди – был привоз.

А у цыган было весело,людно, громко. Я быстро привыкла к перловому супу и лепёшкам, к обществу чумазых ребятишек, к запаху нестираных пелёнок и сопелого пота. В чулане стояла огромная кастрюля с мутной бражкой. Старший внук хозяина таскал её оттуда ковшом и смотрел, как мы, мелкие, пьём, хмелеем и дуреем. Выходил старик, отменно ругался, грозил длинной палкой, но никогда никого не бил. А вот толстая Азя могла запросто огреть мокрой тряпкой. Мы хохотали и убегали прочь со двора.

Язык не нужно было учить. Он давался без всякого труда, всё равно как примерка другого платья. Через пару месяцев я так же чисто чесала по-цыгански, как и материлась. Деда пытался со мной поговорить, но я совершенно не понимала, почему я не могу изъясняться так, как удобно. И он махнул рукой. Аглая же ни в чём меня не ограничивала. Только если я задерживалась и приходила в темноте, в мороз и метель, с застывшими руками и деревянными ногами, она кидалась ко мне, прижималась, тормошила, отдирала ледяные корочки от штанов, судорожно целовала, ласкала и тихонько плакала. Эти минуты были самыми близкими и радостными.

Потом деда снова исчез. Его не было две недели. За это время случилось многое.

6

А вот ещё бывает – младенец кричит да кричит. А то заболевает так, что никакие врачи не помогут. Да что они, врачи, умеют-то! Ходила я ко врачам...

Так вот. Это его духи мучают. Либо чёваханя какая порчу навела. Либо мёртвого в семье недавно схоронили, а он с долгами ушёл, дела недоделал. Всякое бывает. А бывает, что мать, пока беременная ходила, злону на кого имела. Нельзя на людей-то злиться, нельзя.

Ничего, можно помочь. Надо ему, маленькому, заново родиться. А как он заново рождается, не будет на нём обиды никакой. Чистый будет как снег.

Сначала ударили морозы.

Потом у нас подожгли деревянной сарай.

Среди ночи окна озарились жёлтыми сполохами. Горело славно. Хорошо, что сарай стоял далеко от дома, в огороде, а погода была морозная и безветренная – искры не долетали до дома, устремлялись вверх к звёздному небу и там медленно парили, теряя свои маленькие ослепительные жизни.

Аглая кинулась по снегу, теряя тапочки. Она воздела руки вверх и издала странный вопль – не то визг, не то вой. Я в одной ночной рубашке стояла на крыльце и не замечала холода.

Пожарная команда прибыла слишком поздно. Мы лишились всего запаса дров. Будь Деда дома, это не стало бы проблемой. А от Аглаи толку было мало. Она ходила как помешанная, натыкалась на углы и бормотала. Только под вечер мы отобрали годные головёшки и затопили печь.

– Почему дрова пожгли, а? – спрашивала я, оттирая от рук сажу.

– Не любят нас, вот и пожгли, – ответила Аглая равнодушно, беззлобно.

– А почему не любят?

– Да кто ж их знает...

А через несколько дней к нам принесли ребёнка.

Среди ночи я вскочила в своей кровати. В окно отчаянно стучали. Аглая прошлёпала тапочками.

В дом, все в морозном облаке, ввалились, притопывая, две фигуры. В руках первой был свёрток.

– Мама, пошли домой, мама, стыдно, мама, уйдём, – монотонно бубнила вторая.

– Тихо ты, – хрипло сказала первая. И заплакала.

На пол упали заиндевевшие шубы. Аглая затопала, засуетилась. И сразу стала другая. Я притаилась за печью и смотрела, как она, что-то бормоча, мечется по комнате и делает странные вещи.

На стол высыпалась мука, налилось молоко и масло. С размаху, пригоршней – соль. Тесто творилось – крутое и тёплое. В печи пылали остатки наших дров. Скалка быстро раскатывала тесто.

– Подай, – сказала Аглая.

Свёрток оказался на столе. Одежальце и пелёнки упали на пол. Ребёнок был маленький, худой и синий. Ручки и ножки безжизненно свисали.

– И-и-и... – завывала молодая женщина.

– Тихо.

Раз – и Аглая водрузила крошечного мальчика внутрь – как начинку пирога, и ловко защипала края.

– Не-е-ет! Не надо! – заорала молодая.

– Уйди, ты. Штыл!* – тихо приказала Аглая.

И та послушно отошла, всё ещё протягивая руки.

– Мара, лопату.

Я вздрогнула, кинулась за печь и протянула большую плоскую лопатку.

Аглая забормотала, зашевелила тонкими пальцами, а потом подхватила лопатой пирог с малышом и сунула в печь. Пламя охнуло и сомкнулось над тестом. Из печи пахнуло небывалым жаром. Аглая вытащила ребёнка и сунула вновь – ещё глубже. А потом ещё раз – так

* Уйди! (цыг.)

глубоко и сильно, что золотые искры роем ворвались в комнату. Запахло жжёной мукой.

И, наконец, бросила свой страшный хлеб на стол и занесла над ним нож.

Непропечённые корки разверзлись. И тут ребёнок заорал.

Он кричал – пронзительно и сильно, но в этом крике не было боли. Он сучил ножонками и тянул ручки. Аглая подняла его над головой – розового, заходящегося в возмущённом плаче, внимательно осмотрела и сунула матери.

– Покорми.

– У меня молока нет.

– Есть. Корми.

На табуретке чмокал малыш. Его мать улыбалась. Бабушка утирала слёзы краем платка.

– Сердце у него большое... Как родился... Ну, и сразу сказали – не жилец. Что только, к кому только...

– Хорошее у него сердечко, – сказала Аглая. – Как зовут?

– Николай. Коля.

– Другое имя дайте. Надо, чтобы была буква «р». Кирилл – хорошо.

– Да-да. Кирилл так Кирилл. А мы... что скажете, сколько нужно, вы только скажите...

– Да ничё не надо, – устало сказала Аглая.

– Нет, вы только скажите, – не унималась женщина. – Мы всё, мы всё...

– Ладно. Тогда – чего не жалко.

Женщины ушли в морозную темень, прижимая укутанного мальчика – сытого, спящего и здорового.

На следующий день во двор въехал самосвал и высыпал душистую гору наколотых берёзовых дров.

Нам часто приносили чего не жалко.

Аглае приносили: мёд в трёхлитровой банке, яйца в корзинках, гепариновую мазь, отрезки шерсти на платье, замороженное мясо, краску для потолка, новые валенки, банки с вареньем, мотки болгарской шерсти, козлиную шкуру на диван, штaketник на забор, раковину из нержавеющей стали и прочие полезные в хозяйстве вещи.

Приносили и деньги, но редко. В такие дни Аглая как-то стыдливо клала свёрток на стол, на газеты Деда. Тот смеялся над ней, но мятые купюры забирал в карман, знал, что не отвяжется. У нас так принято: деньги – мужчине.

Нет людей плохих. Нет людей хороших. А все люди грешные, а хотят уйти от греха.

Как мать моя захворала, так и я захворала. Маленькая была совсем, грудная. Без молока-то материнского пропала бы. А взяла меня кормить маришка – они рядом жили. Так потом и жила: то к своим, то к ней – на два дома. Отец-то бранился, ну да чего уж. Ребёнок, он везде ребёнок. Кормилица моя образованная была – в школе работала. Меня тоже учила, да я глупая была – мне бы только бегать. Бегала-бегала, а в голове-то всё-таки набилось – не выкинешь. И не захотела я к своим жить идти. Ох, отец-то рвал! Потом-то, конечно, вернулась. А и всё равно ушла.

Родители мне тоже добра хотели. А поди-ко разбери, где оно – добро. Что к хорошему, что к плохому... Каждый сам себе голова, сам себе хозяин.

На дворе установилось тепло, и я совсем отбилась от рук. Поначалу, промотавшись весь день с мокрыми ногами, принялась было кашлять и сопливать. Но солнце припекало, чирикали воробьи, по улицам расплзались лужи. Мне хотелось бегать, прыгать и орать. Болеть было некогда и незачем. За зиму я здорово подросла и окрепла.

Деда ежедневно брал портфель и уходил на работу. Аглая оставалась дома. А я дома не оставалась – чёрный посёлок в низине звал меня. «Амарй», – говорил старик.

А потом на землю опустился август – тёплый, пожилой и усталый, время, когда по утрам летят холодные паутинки и ложится блестящая роса, а днём бесцветное небо тихо звенит, а земля тяжело нагревается, словно старая летняя печка во дворе.

Весь день я провела со своими крикливыми товарищами. Мы обтрясли яблони в чужом саду, купались в грязном тёплом пруду, купили апельсиновый мармелад и семечки, на спор съели дождевых червей и совершили разбойное нападение на чужих девочек, закидав их сухими комьями глины.

Я пришла домой посреди звёздной ночи – усталая, голодная, с тяжёлыми веками и грязнущими ногами. Не в силах вползти на крыльцо, плюхнулась на лавку и принялась снимать пыльные сандалии. Окно было распахнуто и затянута марлей. Слышны были голоса и плеск воды – Аглая стирала.

– Но это необходимо, пойми, – говорил Деда.

– Рано ещё. Хоть бы год ещё погуляла, – устало отозвалась Аглая. – Её там обидят. Я знаю.

– По-твоему, ей лучше таскаться *с этими*?

Воцарилось молчание. Как будто дом и двор накрыли чугунной крышкой.

– Прости.

– Ничего.

– Я имел в виду...

– Я знаю.

– Но нельзя же так. Обидят – не обидят... Может, запереть её на чердаке, чтобы никто не обидел?

– Нет, – Аглая вздохнула. – Только не запереть.

– Она человек. Девочка, – втолковывал Деда. – Ей учиться надо...

– Толку от этой учёбы, – Аглая хлопнула мокрой тряпкой и вылила воду в ведро. – Вот ты учёный... Впрочем, делайте что хотите.

Послышались шаги. Аглая спустилась по ступенькам и выплеснула воду в угол двора. Я поднялась навстречу и уткнулась головой в мокрый подол на её животе. Она ласково погладила меня.

– Мара, пойдёшь в школу? – спросил Деда, приподняв марлю на окне.

Я посмотрела на Аглаю. Она улыбалась – мелкие морщинки лучиками разбегались от уголков рта и глаз.

– Да, – сказала я. – Пойду.

Свежим утром накрапывал дождь. Мы шли втроём по глянцевой от воды дороге. Юбка неловко хлопала по коленям. Букет астр пах мятой

травой и скорой осенью. Я то и дело трясла головой как кошка – банты непривычно стягивали волосы, мешали. На повороте Деда приподнял меня и поцеловал в нос.

– Ну, давай, что ли, старайся, не подведи. Да смотри, плохие слова не говори, это тебе не... – Он осёкся, глянул на Аглаю. – Не дома.

И он поспешил на работу. А мы пошли дальше вдвоём. Аглая всё молчала.

На школьном дворе было полно народу. Аглая протащила меня сквозь толпу и сунула в руки высокой пожилой женщине – мягкой, как булка, и душистой, как наша заведующая. А кругом были дети – совсем другие, чужие, не наши...

И вот мы пошли. И, уже входя в неведомые двери, я оглянулась. Аглая стояла посреди двора. Ветер трепал её крашенные волосы, хлопал полами клетчатого пиджака.

И я не выдержала – бросилась, побежала, спотыкаясь, уткнулась головой в её худой живот.

– Пошли домой! Они все другие!

– Ну что же, что другие? Есть разные люди, – сказала она тихо. – А ты у меня лучше всех – и умница, и красавица.

Я подняла лицо. Мы стояли посреди двора и смотрели друг на друга.

– Ты будешь меня тут ждать?

– А как же! Буду, чяёри, буду.

– Тогда я обратно, а ты жди! Никуда не уходи.

Тяжёлые створки дверей сомкнулись за спиной. Запах побелки и помятых цветов. Цоканье чужих каблуков по каменному полу. Гулкие голоса, чистые окна, шелест бумаги.

Умница и красавица. Не те ли слова прошептала чёваханя в маленькое грязное ушко?

«А ну поворотись, милая!»

Я бежала вверх по лестнице. Бежала в другой мир, чтобы остаться в нём навсегда. Бежала от Аглаи, от чёрного посёлка, от бражки и овсяных лепёшек, от песен и брани.

Что к хорошему, что к плохому... да кто разберёт! Никто этого не знает.